

# ЭВАКУАЦИЯ

## Начало

**В**се началось неожиданно, несмотря на то, что уже более года шла эта невиданная по размаху и ожесточенности война, по праву названная Отечественной. Место действия — наше родное, неповторимое Придонье. Стоял теплый, безоблачный день лета 1942 года. Мы, колхозная ребятня 14-16 лет, привыкшие с ранних лет к крестьянскому труду и ставшие наравне с женщинами и стариками основной рабочей силой, находились в поле. К этому времени вся движимая колхозная техника была эвакуирована на восток, а в нашем распоряжении остались лошади и трехлемеховые распашники, с помощью которых мы вели междурядную прополку кукурузы. Близился обед, щедрое на тепло летнее солнце стремилось к зениту, и мы уже поглядывали на дорогу, ведущую от села. Там вот-вот должна была появиться повозка с тетей Варей и вкусными наваристыми щами. Где-то высоко в небе блестящим белым крестиком наружно провыл немецкий самолет-разведчик, что неоднократно случалось и ранее.

Вдруг мы услышали с западной, белогорьевской стороны Дона характерное тарыхтенье наших По-2. В этом тоже ничего примечательного не было, если бы по мере приближения к нам трех самолетов мы не увидели нечто необычное.

— Гля, гля, на крыльях самолетов люди сидят! — закричали наперебой ребята.

— Ох ты, смотрите, вон у одного пилотка слетела с головы! Митя, снимите быстрее построжки, я поеду...

И тут же верхом один из нас малой рысью устремился к тому месту, где, мелькая и крутясь, как сухой лист, упала не то пилотка, не то другой какой-то предмет, легкий, из ткани.

Вскоре он вернулся верхом на лошади в глубоко надвинутой на голову непомерно большой пилотке. А на крыльях бипланов действительно сидели и стояли люди в комбинезонах, уцепившись за тросы растяжек между крыльями. Пролетая над нами на очень низкой высоте, на которой могли летать только По-2, люди в комбинезонах что-то кричали нам, указывая в сторону Дона. Нам, естественно, ничего расслышать не удалось, но вскоре все выяснилось само собой, явив страшную действительность войны. Приглядевшись в сторону Белогорья, куда указывали нам с самолетов, мы сначала увидели большие клубы черного дыма, а через мгновение до нас докатились громадной силы разрывы бомб.

Белогорье и переправу через Дон бомбили немецкие самолеты. Они шли волна за волной по 9–12 штук и сбрасывали свой смертоносный груз на отступающие и скопившиеся на переправе наши войска, на эвакуирующихся беженцев. Снизу неистово лаяли наши зенитки, и белые облачка разрывов усеяли все небо.

Стервятники с черными крестами на крыльях, отбомбившись, слаженно выстраивались в звенья, разворачивались буквально над нами и уходили на запад. Их место занимали очередные самолеты и бомбили, бомбили, бомбили... Мы, прекратив свою работу, с болью смотрели на эту удручающую картину безнаказанной расправы над нашим ближайшим соседом — Белогорьем и всем тем, что в нем в тот момент находилось. И мысленно умоляли зенитчиков:

— Ну, сбейте, сбейте хоть одного! Да попадите же, наконец. Хоть как-то накажите этих проклятых фашистов!

Тщетно. Хотелось плакать. И действительно, кое-кто из нас плакал. А бомбежка все продолжалась. Разрывов снарядов наших зениток становилось все меньше и меньше. Сплошная пелена черного дыма и пыли заволкла и скрыла за собой и Белогорье, и пойму Дона с ее зелеными лесами.

Позже отступавшие военные рассказали нам подробности трагедии, разыгравшейся на переправе.

Еще ранним утром у понтонной переправы через Дон начало скапливаться большое количество отступающих войск, боевой и гражданской техники, эвакуированных жителей, уходящих со скотом и домашним скарбом. Пропускная способность таких переправ весьма ограничена. Около десяти часов утра у переправы появилась группа военных во главе с полковником НКВД. Все они были одеты с иголки и вооружены автоматами, которых в то время у нашей армии было очень мало. Полковник нашел руководителя переправы, которым был не то капитан, не то старший лейтенант, и, предъявив ему документ сотрудника НКВД, приказал пропустить через переправу сначала эвакуируемый скот, многочисленные стада которого были здесь же, на лугу, а затем уж... войска. Представляя,

что такая очередность парализует переправу на многие часы, руководивший ею наотрез отказался, ссылаясь на приказ, полученный ранее.

— Вы плохо знаете устав, — заорал на него полковник, — выполнять надо последний приказ!

Выхватив револьвер, он тут же застрелил несчастного.

Руководство переправой с этого момента оказалось в руках диверсионной группы во главе с «полковником». Налетом первой же девятки самолетов понтонная переправа была полностью уничтожена, а оставшиеся на правом берегу Дона и заполнившие Белогорье войска оказались обреченными на уничтожение. Накануне первого же бомбового удара по переправе «полковник» и его группа бесследно исчезли.

Впрочем, версию о высадке немцами десанта с целью создания хаоса отвергает известный кинорежиссер и драматург А.П. Довженко, особенно запомнившийся всем по поставленной им картине «Щорс». В тот момент он вместе с другими работниками Киевской киностудии оказался как раз на нашей злополучной Белогорской переправе. В своих дневниковых записях он утверждает, что неразбериху и панику на переправе создал временный комендант Белогорья, который с группой подчиненных решил «навести порядок» на переправе и организовал проверку документов у военных и гражданских лиц, создав многокилометровую пробку из смешавшихся войск, техники, скота и повозок с беженцами. При появлении первых немецких бомбардировщиков этого «блустителя порядка» как ветром сдуло. Сам же А.П. Довженко и его группа, чудом выбравшись из столпотворения, спустились вниз по правобережью Дона почти до Богучара, где и переправились на левый берег. Их дальнейший путь лежал через Калач на восток...

Между тем бомбежка переправы и войск, скопившихся перед ней, все еще продолжалась. С момента ее начала прошло не менее четырех часов. Обед нам, конечно, никто не привез. Не до того было. А мы, бросив распашники в поле и взобравшись на лошадей (благо, их всем хватило), отправились в свое село Александровку-Донскую. Но поехали мы не проселочной дорогой, а по глубокому оврагу, названному почему-то «вилами». Нас, мальчишек-всадников, было не менее тридцати.

Пыль столбом стояла от нашей кавалькады. Неизвестно, что подумали немецкие летчики, увидев группу всадников, движущихся не в сторону отступавших войск, а, напротив, в сторону Дона, то есть к фронту. Один из самолетов, отвалив от строя и перейдя на бреющий полет, начал поливать нас свинцом. Мы все посыпались с лошадей и прижались к земле, а лошади, привыкшие к «коллективным» действиям, освободившись от седоков, прямым ходом отправились в село, в конюшни.

Отлежавшись в бурьяне и придя в себя от первого в жизни пулеметного обстрела, благополучно закончившегося для всех нас, мы отправились пешком, тем более что идти оставалось не менее полутора-двух километров.

В селе царил хаос. Военные, переправившиеся через Дон вплавь, бродили по селу полураздетые, большинство босиком, без оружия. Жители села кормили их кто чем мог, а женщины плакали, слушая их рассказы о пережитых ужасах многодневного отступления.

«Как же так? — напряженно думали мы. — Еще вчера мы слышали по радио о боях за Харьков, Ворошиловград, а сегодня война у нас, на Дону?»

Несколько солдат, остановившись около нас, попросили принести махорки и водички. Мы нашли самосад, а женщины прибежали с крынками молока, с хлебом и другой домашней снедью.

— Вот что, пацаны, — сказал один из солдат, — бегите и вы подаль-

ше. Завтра утром немцы будут у вас. Ничем их, проклятых, не остано-вишь. Ох, сколько наших полегло перед переправой и на ней! Бегите, пока не поздно... А что они делают с мирными жителями, мы видели не раз. Но знайте — наша все равно возьмет. Вернемся мы или другие, и полу-чит фашист сполна за все.

К вечеру бомбардировка утихла. Наступила жуткая тишина. Лишь изредка доносились глухие раскаты взрывов, напоминая, что война при-шла и к берегам Дона. Это слышно было, как немцы бомбили станцию и речной порт в Лисках. А в середине ночи немецкий самолет «повесил» яркую осветительную ракету над Павловском. Вскоре раздался раскати-стый взрыв. На Павловск была сброшена первая авиабомба. Война не-отвратно ворвалась и в наши дома. Всю ночь мы провели в глубокой тре-воге. Днем военные нас уверяли, что к вечеру немцы будут в Белогорье, а к утру, возможно, наведут понтоны и переправятся сюда, на левый берег. У страха, как творится, глаза велики.

Как стало известно позже, передовая немецкая часть с бронетехни-кой вошла в Белогорье лишь на пятый день после бомбежки переправы. А что касается немцев, появившихся в первый же день, то это была все та же группа, возглавляемая «полковником НКВД». Похозяйствовав на переправе, они, переодевшись уже в свою форму, решили показать, кто теперь является настоящими хозяевами на правом берегу Дона.

Уже на второй день утром мы не обнаружили в селе ни одного наше-го военного. Все они, опасаясь прихода немцев, ушли на восток. Полное безвластие, неопределенность и страх нависли над селом.

Однако жизнь брала свое. Особую активность стали проявлять мы, несвершеннолетние пацаны. Запрягли никому теперь уже не нужных лошадей на колхозном дворе, набрали дома харчей и отправились ночью в Шипов лес. Партизанить собрались. День живем в лесу, другой. Конча-ется наш провиант. Тишина. Войны как и не бывало. Изредка прогудит-провоет фашист высоко в небе. И опять тишина. От Шипова леса до на-шего села двенадцать километров. Решили послать разведку. Через четы-ре часа наши конные разведчики сообщили — в Александровке-Донской нет ни наших, ни немцев.

Пошли купаться на Дон. Ничего, все нормально. Только вот время от времени проплывали трупы то людей, то животных, то обломки непонят-ных сооружений. Вскоре узнали, что вверх по течению между Александр-ровкой-Донской и Бабкой, в так называемых Петровских ямах, затоплен караван барж с зерном и продовольствием. Пошли, проверили. Точно. Затоплены баржи и пароходы-буксиры. И ведь не все попали в глубокие Петровские ямы! Некоторые баржи оказались затоплены не полностью, и кое-что съедобное можно было из них извлечь.

Саша Кривобоков, будущий капитан дальнего плавания, ученый, Герой Социалистической Труды, придумал оригинальный метод как про-никнуть в трюмы затопленных барж. В это время беспорядочного отступ-ления на берегу в трюмах, а то и просто на обочинах дорог, валялось бес-численное количество противогазов. Правда, они все почему-то были без сумок. Сумки от противогазов военные приспособляли под более необ-ходимое в пути, в повседневной солдатской жизни — под случайные про-дукты. Известно, что в пути и иголка тяжела, а противогаз... Лучше ки-сет махорки, лишний кусок хлеба...

Саша предложил брать гофрированные трубки от противогазов и со-единять их друг с другом по несколько штук. Эту «кишку», как мы ее

называли, затем присоединяли к одному из противогозов. В этом противогозе один нырял в трюм баржи, а напарник держал «кишку» снаружи. Пожалуйста — дыши, смотри, работай!

И работа закипела. Вскоре во всех дворах села на всевозможных подстилках сушилось зерно, просо, пшеница, фасоль... Правда, все это изрядно пахивало силосом, но голод — не тетка! А некоторым счастливицам удавалось выживать из барж бочоночки-анкерки со сливочным маслом, вполне пригодным для употребления. Длилось это до тех пор, пока с противоположного берега добытчиков не обстреляли немецкие разведчики. А когда появились красноармейцы, то доступ к заветным баржам полностью прекратился. По руслу Дона пролегла линия фронта, продержавшаяся долгие восемь месяцев.

## Жизнь на фронте

Итак, после двухнедельною безвластия и неопределенности на нашей, левобережной, стороне Дона начали появляться советские воинские подразделения: пехотинцы, минометчики, связисты, зенитчики, а с ними — солдатские кухни.

Селяне продолжали жить своей жизнью: растили картошку, огурцы, помидоры, доили коров, выпекали домашний хлеб, помогали военным. Нас, ребят постарше, привлекали рыть окопы и строить блиндажи на берегу Дона, но только в ночное время.

А на полях колхоза в тот год, невзирая на войну, вызрел богатый урожай пшеницы и ржи.

А что же дальше? Ведь после лета — осень, а там и зима. Как жить в условиях фронта, чем питаться и согреваться, в конце концов, что делать, живя практически на самой линии фронта?

Помню, в нашем дворе под развесистой грушей рядом с сооруженным блиндажом (он появился тогда в каждом дворе) собрались старики, чтобы обсудить эти вопросы:

— Немцы, теперь уже ясно, сюда не придут, — сказал мой отец. — Выдохлись, не та сила. Две недели здесь не было наших — они не сунулись, а теперь и подавно. Так что, мужики, давайте думать, как урожай убирать будем. Комбайны есть, а вот тягать их нечем. Вся надежда на старушки-косы да на бабы грабли.

— Так-то оно так, — отвечали ему, — да как только мы сунемся на поле, немцы нас из орудий и накроют.

— А не будем убирать, — парировал другой, — так сами, без помощи немцев, отдадим концы.

— Давайте по ночам работать, хоть что-нибудь наскребем, — предлагал третий.

— Нужно, наверное, посоветоваться с военными. Вон с горки спускается командир, весь в ремнях...

— Здорово, старики! О чем речь держите на своем совете в Филях? — спросил военный и присел к ним, закуривая.

— Да вот, начальник, думаем, как жить дальше и что кушать. Уже пшеница да рожь созрели в поле. Косить да молотить пора, а тут фронт, стрельба. Хотя бы на время немцев отогнали...

— Нет, батя, отгонять немцев не подошло время. Дон, он хоть и наш, да временно немцам это даже на руку. Так что вы организуйте, да и начинайте с Богом.

Видно, от сохи был этот командир и понимал толк в сельскохозяйственных работах:

— Начинайте косить, вязать в снопы да подсушивать, а мы, ночами, поможем сложить в небольшие скирды, подалее одну от другой, а потом и с обмолотом помаракуем, — закончил он, как бы подводя итог разговора.

Вскоре старики, женщины и мы, подростки, вооружившись косами и граблями, отправились до рассвета в поле. Первые два дня прошли спокойно, хотя с Белогорских гор мы были видны, как на ладони. Однажды появился немецкий «Фокке-Вульф», прозванный «рамой». Порыскав над Павловском, он развернулся и снизился, пролетая над нами на такой высоте, что мы отчетливо видели лицо немецкого летчика. Он замахал рукой, имитируя нашу косьбу и показал большой палец: мол, молодцы, косите, убирайте — все равно это достанется нам! И в последующие дни этот самолет, сбросив с десятков килограммовых бомб на замеченную им солдатскую кухню, вновь прилетал к нам в поле. Мы уже не боялись его и, мало обращая внимание, занимались своим делом.

Кроме полетов разведывательного характера и обстрела подозрительных объектов, «рама» часто сбрасывала листовки. Однажды она усеяла всю округу листовками большого формата, сброшюрованными в журнал (как наш «Огонек»). Красочно оформленные, с цветными фотографиями на глянцевой бумаге, они полностью были посвящены плененному немцами Якову Джугашвили (сыну Сталина). На первой странице во весь рост была фотография Якова. Он стоял в шинели, наброшенной на плечи, в пилотке без звездочки и смотрел вдаль широко раскрытыми и полными безысходной печали глазами. Нельзя было без содрогания смотреть на образ и глаза этого обреченного. И подпись: «Яков Сталин чувствует себя хорошо». Под другими фотографиями, где Яков сидит за столом и ест из солдатского котелка, или прогуливается по какой-то аллее, были подписи: «Для Якова Сталина война окончена», «Яков Сталин любит прогулки». Или вопросы: «Почему И. Сталин нарушает свой приказ и не сошлет себя в ссылку? Ведь он так поступает с родственниками военных, сдавшихся к немцам в плен? Себя простил, а других, которых миллионы, — нет!»

А однажды «разведывательный» полет «рамы» чуть было не закончился для нас драматически. Это произошло в один из таких же солнечных дней. Около одиннадцати часов над нами вдруг раздалась пулеметная очередь. Мы все — врасыпную и попадали. Когда самолет улетел, мы все поднялись, а дед Сеня продолжал лежать.

— Деда Сеню убило, — закричал кто-то, подбегая к нему.

— Да живой я, живой... — глухо отозвался дед. — Я просто лежал подольше, чтобы фашист подумал, что я убит. Ведь я сам виноват, что разозлил этого гада. Кулак ему показал! А могли бы пострадать и вы. Ну, слава Богу, обошлось.

И все же люди гибли почти ежедневно. Хоронили их только по ночам и не только на кладбище, но и просто за околицей. Однако полевые работы не прекращались. И никто, в общем-то, нам в этом не мешал. Ну, наши — ясно. Они наши — и этим все сказано. Они поощряли и даже помогали, как могли. Но вот противная сторона! Обстреливая методично село, немцы, а затем и итальянцы почему-то не трогали работавших в поле. То ли они и вправду надеялись на то, что собранный урожай достанется им, то ли возобладали мотивы гуманного характера? Скорее всего, на первых порах, когда на правом берегу Дона были немцы, — то версия

первая. А когда немцев сменили итальянцы, то правдоподобнее вторая версия. И все-таки однажды это неписаное правило было нарушено.

Стоял жаркий и сухой день конца августа. Любое движение по проселочной дороге поднимало клубы черноземной пыли, которая из-за безветрия стояла на одном месте сплошной пеленой. К вечеру в село потянулось стадо коров, а вслед за ним мы, задержавшись тогда в поле дольше обычного. На это столпотворение вражеская сторона среагировала незамедлительно. По скоплению людей и животных был открыт беглый минометно-артиллерийский огонь. Началась жуткая паника. Крики людей, рев животных, обезумевших от одного вида крови, взрывов и смрада. Появились раненые. Когда обстрел прекратился, те, кто постарше и посмелее, стали оказывать первую помощь пострадавшим. А шестнадцатилетняя Люба Харцызова в этот день была сражена насмерть осколком снаряда.

Фронт есть фронт, поэтому жертв даже среди мирных сельчан становилось все больше и больше.

Вскоре наступил конец сентября 1942 года. Все мы напряженно размышляли: что же будет дальше? Ведь стоит задымить солдатской кухне, как с той стороны Дона по этому месту тотчас открывался огонь. А если все жители вынуждены будут зажечь (и не только ночью) свои очаги, чтобы согреть жилища? Однако когда наше командование объявило об эвакуации, то подавляющее большинство селян отнеслось к этому крайне отрицательно. Это были в основном женщины, старики и дети.

— Ну, куда мы с детьми без куска хлеба поедем, кто нас там ждет? Ведь пропадем с голоду да холоду! Здесь хоть картошку с капустой имеем, да хлеб хоть какой-никакой выпекаем. А там? Нет, что хотите, а мы никуда не поедем, — отказывались жители.

— Не-е-е, и не говорите, лучше тут попрём. Дома и смерть красна. Вона, уже больше трех месяцев живем, и ничего!

— Вам же как лучше хотят! — возражали военные. — Вон, смотрите, и подводы дают, по две на двор. Грузите свой скарб да малышей, забирайте скотину, а также харчи, какие есть, прихватите — и вперед... на восток. Вас уже ждут в Воробьевке, в Мужичьем...

Но никакие уговоры на баб не действовали: не поедем, и все тут!

И тогда командование организовало так называемые эвакуогруппы — один офицер и три-четыре солдата, которые, кроме агитации, занимались и принудительным отселением семей. В свою очередь женщины создали свою группу активного противодействия. Ее организатором стала боевая, чуть-чуть взбалмошная селянка по имени Серафима.

— Ой, бабоньки, начали «вакуацию» Погореловской (ныне — Курортная) улицы. Айда туда!

И бабоньки бежали на эту улицу. Зараженные духом противоречия и противостояния здравому смыслу, они вмиг разгружали вещи, только что сложенные солдатами на подводы, отгоняли их с воплями от дворов и сноровисто распрягали лошадей, прятали сбури.

И так ежедневно с улицы на улицу, от дома к дому.

Толпа... На первый взгляд — неуправляемая масса людей. На самом же деле она всегда кем-то умело направляемая. Может натворить невиданное. Не каждому дано найти ключ к управлению этой массой. Безудержная лихость, хитрость или сила — вот что может управлять толпой, и то лишь в какое-то определенное время.

Прошло несколько дней, а из села не выехала ни одна подвода с эвакуированными. И если эвакуогруппе удавалось загрузить вещи и отправить

повозку из села, а делалось это только под вечер, чтобы избежать обстрела, то к утру выехавшие уже оказывались дома, вернувшись с другой улицы, или с конца села.

Задуманная и крайне неизбежная операция явно срывалась.

Ох, как легко было бы сделать это в первые дни прихода немцев к Дону! Тогда ведь многие сами подумывали бежать подальше от фронта. Да некоторые и бежали в ближайшие села — Березки, Копанки, Майданку, Михайловку — к своим родным, близким, знакомым. А теперь? Оставшиеся свыклись с постоянной опасностью и напрочь отказывались покидать свои подворья.

А командование нажимало, обстановка требовала, напряженность возрастала. Руководивший эвакуацией капитан получил серьезное предупреждение от вышестоящего начальства. От него потребовали решительных действий и установили срок — завтра вечером село должно быть очищено от жителей. Хотя большинство людей было охвачено духом противления, эдакой бравадой неуязвимости, но все же и понимало — не устоять им перед властью, тем более перед военной!

Назревала развязка, но никто не знал, какой она будет. И развязка наступила.

Подъезжает подвода к подворью. Начинают грузить домашний скарб. И вот бабушка Надежда Василенко под улюлюканье и поощрительные крики бабьей толпы начинает развязывать супонь хомута и снимать с дуги гужи.

— Уйди, бабка, хуже будет, — грозит ей военный.

— Это ты отойди, милый. Вон иди с немцами воюй. Ишь ты, храбрый какой, с бабками воевать!

— Уйди, говорят тебе. Ведь приказ у меня. Стрелять буду.

Военный берет бабку Надю под локоть и оттаскивает от лошади. Вдруг бабка выходит из себя и со словами «поразит проклятый» бьет с размаху военного по спине.

И тут случилось неожиданное...

Офицер, выхватив из кобуры пистолет, стреляет в упор прямо в сердце бедной бабушке Наде!

Толпа ахнула и сначала замерла на месте, а потом в панике разбежалась по домам. На улице, где жила Серафима, другой офицер поступил более «разумно». Здесь сопротивление эвакуационной группе было особенно яростным. Серафима, войдя в раж и заражая окружающих своей избыточной энергией, вступила в перепалку с капитаном.

— Послушай, тетя, ты на какой улице живешь? Где твой дом? Что-то, похоже, он у тебя на каждой улице?

— У меня, командир, везде дом, все село — мой дом, — крикнула Серафима и принялась развязывать супонь хомута, чтобы распрячь лошадь.

— Оставь в покое повозку, — сказал капитан, хватая Серафиму за руку.

— Брысь, паразит, не смей хватать! — и свободной рукой огрела капитана по плечу.

Был ли это экспромт или приступ ярости, а может быть, заранее продуманное действие, но капитан, молниеносно выхватив револьвер из кобуры и подняв вверх руку Серафимы, выстрелил чуть пониже локтя.

Толпа ахнула и, отступив на шаг, оцепенела.

— Разойдись! — крикнул капитан, и для острастки или самосохранения еще дважды выстрелил в воздух.



— Ах ты, паразит, что же ты сделал! — зажимая рукой рану, крикнула Серафима и длинно, витиевато выругалась.

Два солдата, подхватив под руки Серафиму, спросили у женщин, где она живет, и повели в ближайший двор. Там ей была оказана первая медицинская помощь. Она не противилась.

Женщины и ребятишки, ошеломленные происшедшим, понутив головы, медленно побрели по своим подворьям. Теперь-то ясно, что у военных было множество вариантов решения вопроса об эвакуации гражданского населения с фронтовой полосы, менее жестоких и менее рискованных. Но, как тогда говорили, не важна работа — важен результат. Война, мол, все спишет. Так или иначе, а лед тронулся. Теперь уж на подворье давали не две, а одну подводу — и не всегда в парной, а в одиночной упряжке, да и тех недостаточно.

Поздним вечером из села потянулась длинная вереница подвод, груженных домашним скарбом. Плакали женщины, плакали детишки, беспокройно ревел скот, лаяли, не понимая, что происходит, собаки, удивленно поглядывали из подворотен брошенные на произвол судьбы кошки...

Началась сплошная эвакуация. Путь у эвакуированных пролегал через Михайловку, Петровку, Александровку, Воронцовку, Данило и далее — на Воробьевку, Мужичье, Нижнюю Толучеевку...

К счастью, правдой оказалось то, что эвакуированных в этих местах действительно ждали. Встречавшие их люди щедро делились теплом своих очагов, скудными запасами еды и корма для домашнего скота. А, главное, истинно русской душевностью, неподдельным сочувствием к горю, свалившемуся поровну на весь многострадальный русский народ.

Так закончилась еще одна из трудных историй жизни моего родного села Александровка-Донская.

## САМОКРУТКА

*Если не сбросишь сначала со своей души бремена, которое ее угнетает, то в дорожной встряске она будет еще чувствительнее.*

Мишель де Монтень, «Опыты»

Ранним февральским утром 1943 года я отправился из села Мужичье Воробьевского района в придонское село Александровку-Донскую Павловского района. Это село, как и все придонские населенные пункты, было прифронтовым еще с июля 1942 года.

Участок фронта по Дону от Лисок до Богучара отличался относительным спокойствием, особенно после того, как немецкие воинские соединения с этого участка фронта были перебросены на более ответственное, Сталинградское направление, а их место заняли Альпийский корпус итальянцев и части венгерской армии.

Итальянцы, как известно, не отличались особым рвением помогать в войне своим главным хозяевам — гитлеровцам. По рассказам жителей, находившихся под оккупацией на правобережье Дона, после прихода итальянцев жизнь их стала относительно сносной. Почти полностью было исключено мародерство. Итальянские солдаты даже оказывали помощь в сельхозработах, а продукты питания, которых у них явно недоставало, обменивали у местных жителей на керосин, сигареты и другие вещи из

воинского имущества. Да и воевали они больше по принуждению. Так, они словно по строгому расписанию вели артиллерийский или минометный обстрел населенных пунктов Левобережья в течение 5–10 минут утром, в обед и вечером. Остальное время — тишина. Жители — да и военные — к этому четкому расписанию приспособились, уходили в блиндажи и другие укрытия. Разрушения и людские потери были минимальными.

После окружения и разгрома немцев под Сталинградом и ликвидации группировки итальянских и венгерских дивизий в ходе Острогжско-Росошанской операции фронт был отброшен за сотни километров на запад от Дона. Жители придонских сел и городов потянулись к родным очагам. Итак, фронта больше не стало и, несмотря на зиму, жители спешили к своим застывшим подворьям и холодным хатам, чтобы продолжить свою трудную жизнь в пору военного лихолетья.

К вечеру того же дня я с помощью попутных военных добрался до родного села. Село выглядело мертвым. Постучался в дом своего ближнего соседа, дяди Мити. Он открыл дверь, не спрашивая, кто пришел, и принял меня очень радушно. Оказалось, что в село уже вернулись жители, которые эвакуировались на 15–20 километров от линии фронта, и что даже председатель сельсовета Филипп Васильевич уже занял свое законное место.

Жизнь в селе постепенно возрождалась. Исправно работал «беспроволочный телефон», и буквально каждый день становилось известно, кто и как вернулся домой, у кого и что пропало за время отсутствия, кто подорвался на mine в вылазках за «трофеями» на правобережье Дона.

На третий или четвертый день рассыльная Галя по приказу председателя пригласила меня в сельсовет.

Дом, в котором находился сельский Совет, еще не отапливался. Председатель Филипп Васильевич сидел за деревянным столом, одетый в полушубок и шапку-ушанку. Он что-то писал своей единственной правой рукой, придавив чугунным утюгом серый клочок бумажки. Перед ним стоял пожилой мужчина с винтовкой на ремне. Закончив писать, председатель достал из кисета печать, поплевал и подышал на нее, потом сильно прихлопнул по тому месту, где была его размашистая подпись. Мужчина с винтовкой взял со стола бумажку, сунул ее в карман и, не говоря ни слова, ушел.

— Он немой, — сказал председатель и окинул меня взглядом с ног до головы. — Ну что, воин, пора и тебе заниматься делом. Вон в углу стоит карабин, возьми две обоймы патронов — десять штук. Иди в магазин. Там двенадцать пленных итальянцев. Забирай их и веди в село Бабку. Приказано их по этапу отправить в Лиски. В Бабке пленных сдашь в сельсовет и принесешь мне расписку. Да смотри, не перестреляй их по дороге, а то я знаю вас, вояк сопливых. Понял?

— Понял, — сказал я, — только мне нужно сбежать домой и взять что-нибудь в дорогу.

— Беги, да поживее, сейчас день короткий, а уже почти десять часов.

Прибежал я к дяде Мите с карабином и рассказал ему, какое задание получил от председателя. Дядя Митя дал мне пять штук черных сухарей, добрую горсть махорки-самосада и старую, пожелтевшую районную газету «Луч коммуны».

Встречал я и раньше пленных на наших зимних дорогах, но то, что я увидел в бывшем магазине, потрясло меня. Передо мной были враги, пришедшие на нашу землю, чтобы сделать нас рабами. Но какими они были

сейчас, эти враги! Четверо из них лежали на соломе, плотно прижавшись друг к другу. Остальные топтались, заложив руки в рукава своих несурзных одежонок. На головах были какие-то старые женские платки, ноги обмотаны тряпьем и перевязаны то веревками, то телефонными проводами, то еще Бог знает чем. Все они были давно небриты и страшно худы.

Жестами я объяснил, чтобы они выходили на улицу. Нагнувшись над лежащими, я увидел, что по их лицам ползали вши. Знали ли эти молодые ребята, что их ждет в стране, куда они пришли как завоеватели? Что они думают о тех, кто послал их в эту далекую, непонятную страну?..

С большим трудом мы двинулись в свой восьмикилометровый путь. Дорога наша пролегла по берегу скованного льдом Дона. Но это была не дорога, а просто слабо проторенная тропинка. Шаг влево, шаг вправо грозил смертельной опасностью, так как весь берег реки был нашпигован противопехотными и противотанковыми минами. Ведь всего несколько дней назад здесь проходила линия фронта, продержавшаяся на донских берегах долгие восемь месяцев.

Наше жалкое шествие, состоявшее из тринадцати человек, растянулось на добрые 200 метров. Я шел замыкающим. Мой карабин висел на плече стволом к земле, как и положено у конвоира, а две обоймы патронов покоились в карманах брюк. Мои подопечные шли медленно, часто останавливаясь и, как мне показалось, с опаской оглядывались. Вдруг впереди идущий пленный остановился и начал местами что-то показывать. Мы все увидели, что метрах в трехстах впереди нашу тропинку перебежала стая диких кабанов, направившихся в сторону дубравы, прилегающей вплотную к Дону. Не успели они скрыться за деревьями, как раздался оглушительный взрыв мины. Земля со снегом и ветками взметнулась вверх. Все пленные, как по команде, упали на тропинку. Сработал многолетний фронтовой опыт.

Когда первое замешательство прошло, один из итальянцев бросился в сторону взрыва. Я понял, что на такое безрассудство толкнул его голод. Пленный надеялся найти убитых миной кабанов, не осознавая того, что и сам может напороться на мину. Я быстро вытащил из кармана обойму, зарядил карабин и выстрелил в воздух. Все пленные опять упали в снег. «Беглец» тоже упал, но потом поднялся и медленно, понурый пошел назад.

Оторвав клочок газеты, я сделал самокрутку и стал высекать огонь при помощи кремня, стальной пластинки и слегка обожженного клочка ваты. Итальянцы с нескрываемым интересом, а может быть, и завистью, наблюдали за моей процедурой закуривания. И вдруг... Это было для меня как гром среди ясного неба!

— Товаришу, можно у Вас просить закурить?

— Камрад, камрад, — заговорили на непонятном мне языке другие.

— Откуда вы знаете русский язык? — спросил я.

— Моя мама украинка, а папа мадьяр, — ответил пленный, беря у меня оторванную на самокрутку бумажку. Я насыпал ему порцию махорки, и он стал неумело заворачивать самокрутку. У него явно не получалось и, наконец, вся махорка оказалась развеванной ветром по снегу. Остальные пленные недовольно зашумели. Видимо, всем хотелось получить хотя бы по одной-две затяжки.

— Вы сам, Вы сам... — попросил неудачник.

Воткнув карабин прикладом в снег, я стал ладить новую самокрутку.

Наконец он прикурил, сделал жадно одну затяжку, вторую, третью и блаженно заулыбался. Все остальные начали что-то быстро ему гово-

речь, но я, поняв, в чем дело, жестом остановил их и начал всем делать самокрутки, что вызвало у них возгласы одобрения. При этом мой карабин упал. Один из пленных поднял его и, как ни в чем не бывало, сказал:

— Продолжайте, продолжайте, я пока подержу ваше оружие.

Вот так само собой установилось взаимное доверие между пленными и их конвоиром.

Время неумолимо клонилось к вечеру. Кругом стояла благодатная тишина. Ветер утих. Подмораживало. Закончив перекур, мы продолжали свое безрадостное шествие. При помощи невольно обнаружившегося «переводчика» я предложил новый порядок движения. Теперь я иду впереди всех. За мною идет «переводчик», держась за ремень протянутого к нему карабина. Все остальные следуют за нами.

В деревню мы вошли, когда уже совсем стемнело. Подойдя к сельсовету, мы увидели, что он закрыт на замок. Напротив стояла полуразрушенная церковь, в полуподвальное помещение которой все мы и спустились. Я вспомнил, что у меня в кармане есть сухари, и у меня сразу же засосало под ложечкой. Вытащив один из них, я откусил от него и... сразу ко мне потянулись мои пленные. Что делать? Ведь сухари не хлеб, который можно разрезать на относительно равные части и делить. Мои пленные быстро сообразили, что следует сделать: четыре моих сухаря вмиг были превращены в мелкие крошки в одной из кожаных рукавиц, а на земляном полу на картонке появилось двенадцать равных кучек из крошек. Все это происходило при слабом свете костерка, уже разведенного пленными на полу у выхода из полуподвала. Крошки сухарей были мгновенно проглочены, и я приступил ко второму кругу изготовления самокруток.

Во время нашего похода и многократных остановок для отдыха мой «переводчик» на ломаном украинско-русском рассказывал о своей сложной и во многом трагичной жизни, которая, как ни странно, оказалась тесно переплетенной с моей собственной жизнью и жизнью близких мне людей.

### **Из рассказа мадьяра «переводчика»**

— Родился я в 1918 году в городке Святой Андрей под Будапештом. Меня зовут Шандор. Моя мать была украинка венгерского происхождения. Замуж вышла за состоятельного мадьяра Ласло Деречи. Сам Ласло имел хорошее состояние, доставшееся ему от родителей. У него был большой фруктовый сад, пасека и солидные земельные угодья. Ласло Деречи большую часть времени проводил в Будапеште: в основном кутил в ресторанах. Одним словом, вел весьма разгульную, «свободную» жизнь. Имением управлял престарелый родственник хозяина, а все работы по хозяйству исполнялись вначале батраками, а с 1916 года — русскими, взятыми плен в Первой мировой войне. Один из пленных, выполнявших в имении обязанности садовника, был воронежцем, родом из какого-то Павловска...

Здесь я прервал рассказчика, сказав, что если бы мы пошли из нашего села на юг, то ровно через такое же время пришли бы в этот самый Павловск.

Он долго молчал, а потом с волнением продолжил свой рассказ.

— ...Так вот, этот самый садовник, по словам моей матери, и был моим отцом. Я даже знаю его имя...

И здесь он сказал то, что я никак не мог ожидать.

— Его имя Владимир Сорокин.

— Сорокин?! — вырвалось у меня, ибо это были имя и фамилия моего отца!

— Да, да, Сорокин, Сорокин, — сказал он. — Я не видел его, да и не мог видеть. Родился я после того, как всех пленных отпустили домой, в Россию, как только произошла у вас революция. Вскоре погиб и мой «отец», Деречи, в очередной революционной схватке в Будапеште. Так при двух отцах я родился сиротой. Потом — школа, военное училище, служба и наконец этот фронт. Когда меня мама провожала на войну, то дала наказ — не убивать русских. Мне легко было его выполнить. Я был командиром роты радиотелефонистов... Мне не пришлось ходить в атаки или их отбивать...

Я поначалу слабо понимал то, что он с трудом и бессвязно излагал.

В моем воображении роились всевозможные мысли. Что делать? В детстве я часто слышал рассказы моего отца о том, что ему пришлось пережить в немецком плену, пока он и его товарищи не попали (по какому-то отбору) в имение богатое венгра.

Сказать пленному об этом? Но тогда... Тогда получится, что враг оказался моим братом, сыном моего отца. А в то время это грозило мне и всем моим близким самыми серьезными последствиями. Нет, решил я, нельзя раскрываться. Это было бы равносильно самоубийству.

Тут к нам в полуподвал спустилась какая-то старушка. В руках у нее был солдатский котелок, наполненный дымящейся картошкой в мундирах.

— Парень, — строго обратилась она ко мне, — можно дать пленным картошку?

Пленные оживились. Поднялись и подошли даже те, кто лежал.

— Можно, бабушка, можно, — вздохнул я. — Да вот беда, сельсовет закрыт, на улице холодно, да и здесь не тепло. Я сейчас уйду домой, а где этим бедолагам провести ночь? Может, вы их к себе заберете? Или разведете по домам?

Пока пленные аккуратно, без шума и ругани, делили картошку по уже известному принципу, по кучкам, старушка молчала. Я смотрел на нее и думал, какая же сила заложена в русском человеке, особенно в русских женщинах. Она сама, переживающая голодное лихолетье, отрывает от себя, а может быть, от своей голодной семьи последнее и кормит вчерашних врагов.

— Куда же я их, милый, возьму? У меня вон и хата — одна комната, да и еды у меня совсем нет, хлеба — ни крошки. Фасоль да картошка только.

— Им, бабуся, и простой кипяток — благо. А если они пойдут по селу, на огонек, кто их ночью пустит?

— Ладно, я отведу двух-трех к куме, к себе нямного возьму, да и остальных на ночь как-нибудь пристроим.

Я рассказал своему «переводчику», а как теперь выяснилось, своему единокровному брату, то, о чем мы договорились со старушкой, и поручил ему собрать всех утром и привести в сельский Совет для организации дальнейшего следования в сторону Лисок. Он перевел. В ответ разноязычно прозвучало: грация, спасибо, данке и еще что-то вовсе непонятное. На клочке газетной бумаги печатными буквами я написал «На Лиски» и отдал листок Шандору, тем самым как бы назначая его старшим группы.

Попрощавшись, вскинул карабин на ремень и вышел на улицу. Стояла лунная ночь. За околицей меня оглушила жуткая тишина. Ночь была морозной, безветренной. Снег под лунным светом отливал загадочной

синевой. Как-то стало не по себе, но тут же вспомнил, что у меня есть оружие, есть еще девять патронов. В моем юношеском воображении я вполне обладал необходимой властью над этим безмолвным, но прекрасным миром. Подгоняемый крепким морозцем, подступившим вдруг голодом (ведь за весь прошедший день я съел один черный сухарик), не более чем за час добрался до околицы родного села. Здесь выпустил в воздух последний патрон. Остальные же израсходовал по дороге, подбадривая себя, шагая в одиночестве. Дверь в сельский Совет оказалась незапертой, но внутри никого не было. В печке догорали остатки поленьев. Водрузив карабин в отведенное для него место, я бросил в стол председателя две пустые обоймы и отправился домой, то есть к дяде Мите.

Он спросил, как я справился с поручением местной власти. Я ответил, что нормально, и, завалившись на теплую лежанку, уснул мертвецким сном.

Никто не спросил у меня ни расписку о сданных пленных, ни о растерянных патронах, как будто ничего и не было.

И все же то, что со мною произошло, то, что я пережил за этот день, оставило на всю жизнь глубокий след в моем сознании. Я и теперь, по прошествии почти полувека, часто возвращаюсь к тому эпизоду в моей жизни, тем более, что ровно через сорок лет — в 1983 году — эта история имела свое продолжение, но уже при других обстоятельствах и в другом месте. А именно — в Венгрии, в местечке Святой Андрей, которое расположено в нескольких километрах от Будапешта.

### Сорок лет спустя

Итак, сорок лет спустя, в 1983 году, мне довелось быть в туристической поездке (в то время они носили достаточно массовый характер) по Чехословакии и Венгрии. В последней точке нашего маршрута нас посетили в гостиницу «Стадион», откуда мы «Икарусом» ездили по Венгрии. В поездках нас сопровождала гид Эрика. Она очень профессионально и непринужденно рассказывала о достопримечательностях своей страны, перемежая свой рассказ смачными шутками и прибаутками.

Выехав в очередной раз с нами в поезде из Будапешта, Эрика объявила, что мы проедем мимо Омского парка и что следующая наша остановка будет в городке Святой Андрей. Меня словно пронзило током. В памяти всплыли события давнего февральского дня 1943 года. За эти сорок лет мне довелось побывать на фронте, поработать длительное время в Китае в группе военно-морских специалистов, а после почти десятилетней службы в армии и на флоте окончить институт и продолжительное время потрудиться на заводе.

Мне не терпелось поскорее увидеть места нелегкой, подневольной жизни моего отца.

Свернув с трассы, мы проехали по нешироким улочкам к центру опрятного, чистенького городка. Остановились.

— Сколько времени мы пробудем здесь?.. — спросил я Эрику.

— Не более трех часов. Смотреть здесь особенно нечего, но у нас тут запланирован обед... А пока побродите по площади, проверьте содержимое магазинов и многочисленных лотков, освобождайтесь от ваших форинтов. Сбор на этом месте через два часа.

Я поблагодарил Эрику, предупредив при этом, что от обеда я отказываюсь — пусть она не беспокоится. Пройдя через площадь, я оказался на

довольно широкой, благоустроенной улице. Я еще не знал, что сделаю дальше. Мне просто хотелось побродить по этому чужому городу, где наверняка хаживал когда-то мой молодой отец, когда еще меня не было на свете.

Вдруг на мои глаза попался киоск, как мне показалось, справочный, так как никаких признаков торговли в нем не наблюдалось. Я быстро вытащил свой записной блокнот с ручкой и на листке написал три слова латинскими буквами: «Дечери Шандор. Адрес», подал в окошко миловидной женщине, при этом показывая ей свой заграничный паспорт.

— Вам нужен Шандор Дечери? — неожиданно по-русски спросила она.

— Да, прошу Вас, пожалуйста.

— Это человек известный и уважаемый в нашем городе. Он здесь недалеко работает директором нашей местной фабрики. Если он вам нужен, я могу позвонить и сказать ему о вас.

Я был в замешательстве. Что предпринять? Ведь он меня не знает, да и вообще забыл о том давнем эпизоде. А может быть, это и не он, а просто однофамилец?

— Скажите, пожалуйста, что русский из Воронежа просит с ним кратковременной, но срочной встречи.

Она позвонила, с кем-то долго говорила, потом молчала, держа у уха безмолвную телефонную трубку. Потом опять быстро говорила, улыбаясь и поглядывая на меня.

— Подождите немного, — сказала она, положив трубку, — скоро сюда подойдет машина.

Я поблагодарил и стал медленно прохаживаться у киоска, подавляя в себе невольно возникшее волнение.

Вскоре подъехали наши родные «жигули». Водитель подошел к киоску, что-то спросил и жестом пригласил меня в машину. Минут через пять мы остановились у небольшого здания. Поднявшись на второй этаж, водитель указал мне на дверь, в которую мне предстояло войти, но она внезапно открылась — предо мной предстал мужчина, седоволосый, лет шестидесяти. Мы поздоровались. Я сразу понял, что это он, Шандор Деречи, ибо стоявший был «облагороженной» копией моего отца! Мы вошли в кабинет. Рабочий стол, стол для заседаний на 18–20 человек. Уголок для отдыха с мягкими креслами, два телефона и диктофон на приставном передвижном столике. Все это я охватил одним взглядом. Стоя, мы пристально смотрели друг на друга.

— Присаживайтесь, слушаю Вас, — сказал он на чистейшем русском, но я остался стоять на месте, не решив еще, с чего начать наш разговор...

— Я приехал сюда из Воронежа в составе туристической группы. Остановились мы в Святом Андрее всего на три часа. Я хотел спросить, тот ли Вы Деречи Шандор, который был в составе группы военнопленных итальянцев, которую я сопровождал в феврале 1943 года?

Несколько секунд он молчал, как будто прокручивая в памяти события тех давних лет.

— О, да! Русский юноша с винтовкой... сухари... самокрутки! Здравствуйте, дорогой наш спаситель! Да возможно ли это? Но как, как Вы смогли разыскать меня в этой многоликой суете сует? Ведь столько прошло времени! Столько лет! Фантастика!

— Ваш отец, Сорокин Владимир, и мой отец — одно и то же лицо, — выпалил я на одном дыхании.

Шандор поднялся из-за стола. Лицо его побледнело, руки на столе нервно дрогнули. Он стремительно вышел из кабинета, но через несколько секунд вернулся, сел за стол, обхватил свою седую голову руками, приготовился, по-видимому, слушать.

Я начал рассказ с того момента, когда он во время нашего похода назвал имя и фамилию моего отца. Я рассказал о том, что еще в детстве слышал о Святом Андрее, о жизни в нем русских военнопленных. Поведал я и о том, что когда-то подвыпивший мой односельчанин вскользь упомянул о том, что у моего отца «есть дети за границей», к чему я тогда отнесся, как к пьяному бреду. Но, очевидно, мой отец где-то кому-то проговорился об этом...

Между тем миловидная девушка внесла в кабинет поднос, на котором стояли два чашки дымящегося кофе, бутылка какого-то заморского коньяка, вазочка с конфетами, две коньячных рюмочки и два «прозрачных» бутерброда с сыром. Мы выпили, и я продолжил свой рассказ. Шандор сидел, внимательно слушаая и одновременно потроша сигарету за сигаретой на чистый лист бумаги. Затем он взял со стола газету «Непсабашаг», оторвав от того листа газеты, где красовались два ордена. Быстро и сноровисто свернув самокрутку из сигаретного табака, он протянул мне ее не склеенной.

— Вы сами, Вы сами... — сказал я, точь-в-точь повторив слова, сказанные им сорок лет назад.

— Да, этим искусством я у вас в России овладел сполна, — сказал он, впервые улыбнувшись за время нашей беседы. Потом он сделал такую же самокрутку для себя. Под конец я сказал Шандору, что наш отец умер в 1954 году, так и не узнав о нашей встрече в тот зимний февральский день 1943 года. Шандор налил в рюмки коньяка, и теперь мы выпили, не чокаясь. Я посмотрел на часы. В моем распоряжении оставалось ровно сорок пять минут. А как хотелось услышать от Шандора, что он делал, находясь у нас в плену, сколько он там пробыл?

Он наполнил рюмки коньяком, спросил, куда мне нужно подъехать к своей группе. Я ответил.

— Ничего, успеем, — сказал он, — а теперь после всего того, что выяснилось, я предлагаю выпить «на ты», ведь мы братья!

В тот раз, и еще за две наши встречи в гостинице «Стадион» в Будапеште, Шандор поведал мне следующее.

— Никогда не перестану удивляться широте души и восхищаться добротой сердец русских, особенно женщин! Когда ты нас оставил в селе, название которого соответствовало тогдашнему населению этого и других русских сел, — Бабка! — нас старушка расселила по избам. Наутро, как и было условлено, мы все собрались у сельского управления. Долго ждали, когда придет председатель. Я показал ему бумажку, которую ты мне оставил. Он долго вертел ее в руках, а потом сказал, что если нам написали идти на Лиски, то и идите, и что у него нет людей для сопровождения. В селе остались одни бабки и инвалиды, да и тех мало.

В этом селе мы пробыли еще два дня. Отогрелись, освободились от вшей при помощи местных старушек, подремонтировали свою развалившуюся обувь. Предоставленные сами себе, мы все же решили двигаться в том направлении, как ты нам предписал. Расспросив, куда идти, мы ранним утром отправились в поход. Мне трудно сейчас сказать, сколько километров мы прошагали от села к селу, но помню, что шли мы двенадцать дней. Заходя в очередное село, мы искали местное начальство, предъяв-



ляли свой «документ» и нас, как правило, расселяли по избам, кормили, чем бог послал. Мы же, чем могли, помогали местным жителям: пилили и кололи дрова, чистили снег, ремонтировали двери, калитки, подправляли сараи...

В одном селе, кажется, в Колыбелке, нам местные жители устроили настоящую русскую баню, и мы обрели мало-мальски человеческий облик. Однако кто-то из нашей группы по дороге заболел тифом, и мы оставили его в одном из сел. О его судьбе я после ничего не узнал. Это был итальянец, лет двадцати пяти. Может быть, он там и похоронен.

Наконец-то, мы добрались до Лисок. Разыскали на железнодорожной станции военную комендатуру. Дежурному офицеру я предъявил свой изрядно помятый «документ». Он рассмеялся и начал расспрашивать подробности. Я, как мог, объяснил ему все наши дорожные приключения. К моему большому сожалению, он бросил «документ» в мусорную корзину, а нас под конвоем солдата-автоматчика отправил в казарму, расположенную неподалеку от станции. Казарма была большая, с трехъярусными нарами, застеленными соломой. В ней уже находилось человек 70–80 военнопленных, в основном немцев, к которым охрана относилась довольно строго. С этого момента началась наша, расписанная по дням, часам и минутам, жизнь в плену. Через несколько дней, когда военнопленных собралось около двухсот человек, всех отправили в Воронеж.

То, что я увидел в там, потрясло меня до глубины души. Город был полностью разрушен. «Чтобы восстановить этот город, — подумал я, — потребуется не менее пятидесяти лет». Вот этим-то как раз нам и пришлось заниматься долгие три с половиной года. Знание русского и немецкого языков значительно помогло мне выжить в столь трудное для вас и для нас время. Мы восстанавливали разрушенное, строили заново жилые дома и промышленные предприятия; восстанавливали трамвайные пути, выполняли другие работы. Будучи связистом по специальности, я был назначен руководителем отряда по прокладке слаботочных магистралей радиовещания и телефонной связи. Одновременно исполнял обязанности переводчика и вел канцелярские дела. Так мы жили, работали, болели, а подчас и умирали, прибавляя к десяткам тысяч погибших на придонских полях. Все, что произошло в нашей жизни, в жизни наших народов в связи с двумя мировыми войнами — ужасно, но в то же время поучительно, и заставляет задуматься о том, как переплетены судьбы людей разных стран и народов, какие мы разные и какие одинаковые. Вот и у меня где-то в Воронеже живет дочь, которой уже за тридцать, и носит она, как и я, не свою родную фамилию. Мы всю жизнь живем не так, как нам хочется, а так, как нам предпишут сверху. Сейчас я вынужден просить тебя весь этот наш разговор оставить между нами до лучших, может быть, времен. Верю, они наступят, хотя, может быть, уже и без нас.

Я полностью согласился с Шандором, так как думал и жил в то время по известным идеологическим канонам. И только теперь, по прошествии полувека, я решил рассказать эту историю.

### От автора

В этой истории нет ничего придуманного, за исключением того, что истинные фамилии Шандора Деречи и его настоящего отца изменены.